



ВЕРТОПРАХИ СТАРОГО ДВОРА

РОМАН



18+

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

Матею (Матей) Йон Караджале
Вертопрахи Старого двора

«Ад Маргинем Пресс»

1929

УДК 821.135.1-31
ББК 84(4Рум)6-44

Караджале М.

Вертопрахи Старого двора / М. Караджале — «Ад Маргинем Пресс», 1929

ISBN 978-5-908038-62-1

Румынский роман XX века мистификатора, поэта и художника Матею Йона Караджале, заново открытый в начале XXI века и удостоившийся двух конкурирующих переводов на английский, на русском издается впервые. Действие разворачивается в старом Бухаресте – среди интриг, любовных историй и борьбы за выживание. Главные герои – Пашадиа, Пантази и Пиргу, неразлучные товарищи из разных слоев, – олицетворяют черты румынского общества на изломе эпохи. Разочарованные жизнью и утратившие ее смысл, они пытаются обрести его в чувственных наслаждениях, тоскуя по ушедшим идеалам. Тоска по прошлому здесь тесно связана с темой упадка аристократии, а скорбь выражается в почти биологических категориях неуклонного вырождения. Читатель становится свидетелем инволюции аристократического духа – пути от мощи и витализма к астенической меланхолии и гедонизму последних отпрысков рода.

УДК 821.135.1-31

ББК 84(4Рум)6-44

ISBN 978-5-908038-62-1

© Караджале М., 1929
© Ад Маргинем Пресс, 1929

Содержание

Встреча	6
Три странствия	16
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Матею Караджале

Вертопрахи Старого двора

*Que voulez-vous, nous sommes ici aux portes de l'Orient, ou tout est pris
à la légère...¹*

Raymond Poincaré

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2026

Встреча

...au tapis-franc nous étions réunis².

L. Protat

Несмотря на клятвенное обещание, данное себе накануне, вернуться домой раньше обычного, порог своего дома я переступил лишь ближе к полудню следующего дня.

В этот раз ночь застигла меня в постели – я потерял счет времени. Я бы спал дальше, крепко и безмятежно, если бы не письмо, для получения которого требовалась моя личная подпись. Когда мой сон прерывают, я становлюсь хмурым, недовольным и раздражительным. Отказавшись наотрез расписываться, я буркнул, чтобы меня оставили в покое.

Я снова задремал, но ненадолго. Эта злосчастная эпистола возникла опять, сопровождаемая резким светом лампы. Негодник почтальон счел нужным расписаться за меня собственной рукой. Благодарности от меня он не получил.

Ненавижу письма. Не припомню ни одного, которое принесло бы мне радостную весть, за исключением редких посланий от моего доброго приятеля Ури. Я до сих пор испытываю ужас перед письмами, а в те времена я предпочитал сжигать их, не открывая.

Та же участь ждала новоприбывшее письмо. Я узнал почерк и уже догадался о содержании, знал наизусть пресную мешанину поучений и упреков, которую получал из дома едва ли не с каждым началом месяца: мне предписывали мужественно ступить на стезю труда, упрекали за нерешительность в этом начинании, и в конце – неизменное пожелание, чтобы Бог хранил меня под своей святой защитой.

«Аминь!» – пронеслось в голове, но в том состоянии, в котором я находился, отправиться в какой-либо путь мне было бы крайне сложно. Даже в кровати я не мог пошевелиться. Раздробленный, разобранный по суставам, с разбитой поясницей, я ощущал себя студнем. В моем затуманенном сознании промелькнула мысль, что меня может разбить паралич.

В конечном итоге я выстоял. Целый месяц, тихо и незаметно, с опаской и надеждой я погружался в развлечения, игры и выпивку. Последние годы были для меня чередой суровых испытаний, и мою хрупкую жизнь, словно лодку, подбрасывало на волнах бушующего моря. Сопровителюсь я вяло и, изрядно от всего устав, поспешил погрузиться в порочную жизнь.

Я как-то слишком быстро взял старт, но вскоре понял, что мне придется сдаться. Силы покидали меня. В тот вечер я был настолько измотан, что, вероятно, не смог бы двинуться с места, даже если бы мой дом был охвачен пламенем. Но вдруг я очнулся и уже через мгновение стоял посреди комнаты и испуганно смотрел на часы. Я вспомнил, что меня пригласил на обед Пантази.

Как вовремя меня разбудили! Теперь уже я был несказанно рад и с благодарностью смотрел на письмо родителей, иначе бы я пропустил встречу с моим самым дорогим другом.

Быстро одевшись, я вышел из дома. Это был самый конец осени, пора уныния и слез. Несмотря на отсутствие дождя, всё вокруг дышало влагой: плакали водосточные трубы, плакали ветви оголенных деревьев, по стволам и решеткам стекали, словно холодный пот, крупные капли воды. В такую погоду особенно хочется выпить чего-нибудь покрепче. Редкие прохожие, едва различимые в тумане, почти все были в подпитии. Один долговязый господин, спускаясь с крыльца кабака, упал и так и остался валяться на земле.

Я брезгливо отвернулся. Ресторанчик, выбранный для этого вечера, находился на улице Ковач, я взял извозчика, что на самом деле было разумно, потому как к моему приезду гости

² «...мы встретились в кафешантане». Л. Протат (франц.).

уже пили вторую стопку цуйки³, а хозяин вечеринки – третью. Я выразил удивление, что они уже перешли к напиткам, однако Пантази объяснил мне, что он приехал прямо из дома, а Пашадиа и Пиргу – из «клуба», а так как погода была слишком скверной, задерживаться на закусках они не стали.

Пантази заказал нам еще по одной порции цуйки. Мы чокнулись, но без обычного заздравия. Я опасался, что снова засну. В зале, где начиналось шумное купеческое веселье – это была суббота, – наш стол выглядел как поминальная трапеза.

Густой наваристый суп со сметаной и зеленым перцем поглощался молча. Никто из присутствующих не отрывал глаз от тарелок. В особенности Пиргу, казалось, был охвачен глубокой печалью. Я был готов прервать молчание и начать беседу, но в тот момент лэутары⁴ заиграли вальс, который был одной из слабостей Пантази, – вальс медленный, чувственный и печальный, почти похоронный. Его вялое, убаюкивающее звучание, пронизанное тоской и нескончаемым терзанием, таило в себе такую пронзительную страсть, что слушать его было одновременно приятно и мучительно. Как только струны на деревянных кобылках начали выводить горькое признание, весь зал затих под глубоким очарованием мелодии. Всё более нежная, тихая и неспешная, эта мелодия, исповедующая нежность и разочарования, скитания и страдания, угрызения совести и раскаяния, постепенно растворялась в тоске, удаляясь и угасая, оставляя после себя лишь запоздалый и напрасный зов до заключительного аккорда.

Пантази смахнул с глаз слезы.

– Ах! – сказал Пиргу, обращаясь к Пашадиа, изображая томный взгляд и слащавый голос. – Ах! Под этот вальс я бы хотел проводить тебя в последний путь, и чем скорее, тем лучше. Надеюсь, ты не заставишь долго ждать очередного праздника, которого так жаждет моя юная душа. Как же это будет красиво, как красиво! И мы с дядькой Пантази, подвыпившие, произнося трогательные слова прощания с нашим навеки незабвенным другом, заставим плакать горячими слезами всех пришедших на похороны.

Пашадиа ничего не ответил.

– Да, – продолжал Пиргу, голос и взгляд его становились всё более слащавыми, – это будет великолепно! Я буду нести на подушке твои ордена и медали. И через семь лет, держу пари, на большой поминальной трапезе, когда тебя будут эксгумировать⁵, тебя найдут таким же нарядным, щеголеватым, таким же стройным, сухощавым, без единого седого волоска, пропитанным ртутью и спиртом, словно огурчик, замаринованный в соли и уксусе.

Но Пашадиа его не слушал, он думал о своем. В этот раз Пиргу избежал взбучки, да и у меня не было никакого желания вступать с ним в перепалку, глаза б мои на него не глядели.

С тех пор как я остался один в Бухаресте, еще совсем юным, предоставленным самому себе, я сознательно избегал сближаться с кем бы то ни было. Следовательно, Горикэ Пиргу ни за что не вошел бы в тщательно выверенный, достаточно узкий круг моих знакомых. Однако он был неотделим от Пашадиа, к которому я испытывал безграничное почтение.

Пашадиа был незаурядным человеком. По стечению обстоятельств он был наделен самым совершенным мозгом, которым может обладать человек. Я знал близко многих, кого считают «славой» нашей страны, однако лишь у немногих из них я наблюдал такое чудесное сочетание стольких высоких человеческих качеств, сколько было у этого несправедливо обойденного судьбой господина, который по собственной воле обрек себя на забвение. И я не знаю никого другого, кто бы вызвал против себя такое количество слепой вражды.

³ Румынский крепкий алкогольный напиток (дистиллят), изготавливаемый из слив.

⁴ Лэутары – румынские и молдавские традиционные музыканты, преимущественно скрипачи.

⁵ Речь идет о существующем в Румынии обычае устраивать последние поминки через семь лет после смерти человека, а также о существовавшем в некоторых регионах обычае эксгумации останков.

Насколько я понял из разговоров, такое отношение к нему отчасти объяснялось его внешностью. Как же он был красив! Но что-то тревожное таилось в нем: столько сдержанной страсти, столько беспощадной надменности и жесткой неприязни пытались скрыть черты его лица. Эту внутреннюю борьбу выдавали болезненная бледность, недовольная складка у губ, гневные ноздри и тот рассеянный взгляд из-под тяжелых век. А его тягучий глухой голос был пронизан глубокой, пропитанной горечью, неприязнью.

История его жизни, которую он так тщательно скрывал от нас, была историей жестокой борьбы. Происходя из знатной и состоятельной семьи, он, однако, с самого рождения познал невзгоды, воспитывался чужими людьми, а затем был сослан за границу на учебу. Вернувшись на родину, он обнаружил, что его ограбили близкие ему люди. Его предавали, гнали, преследовали, травили все вокруг. Чего только не замыслили против него! С какой вопиющей несправедливостью встречали его труды – неустанную работу его жертвенной юности! Как будто все сговорились похоронить его в безмолвии! После долгих лет лишений и всевозможных тяжелейших испытаний, которые сломили бы и великана, этот железный человек вышел с двойной закалкой. Пашадиа не был человеком безропотного подчинения; хладнокровие и уверенность в себе не покидали его даже в самые мрачные моменты жизни. Будучи настойчивым в достижении своих целей, он преодолевал все на первый взгляд непреодолимые препятствия, все тяжелые ситуации, ловко оборачивая их в свою пользу. Никто не обладал таким терпением, как он. Хладнокровно выжидая на перепутье дорог появление удачи, он хватал ее и делал всё возможное, чтобы вырвать то, что изначально по праву должно было достаться ему без мучений и терзаний. Превзойдя единожды самого себя, он ошеломил всех и привлек к себе внимание. Став со временем жестоким коновалом в белых перчатках, он отныне добивался всего, чего бы ни пожелал. Перед ним был проложен широкий и гладкий путь к величию. Но затем, когда перед ним открылись все дороги, он вдруг утратил все желания и отступил. Я предполагал, что в основе этого странного решения лежала в том числе и боязнь самого себя, ибо под внешней ледяной оболочкой Пашадиа скрывалась страстная, запутанная, коварная натура, которая, несмотря на всю свою сдержанность, часто выдавала себя вспышками цинизма. С ядом, скопившимся в его окаменелом сердце, власть легко бы сделала его опасным. В нем уже не было никакой веры ни в добродетели, ни в честь, ни в добро, никакой жалости или снисходительности к человеческим слабостям, которые, казалось, совершенно не были ему присущи.

Его уход из политики всех удивил, пожалуй, меньше, чем произошедшие перемены в образе жизни. В возрасте, когда другие начинают чувствовать раскаяние, он, человек служивший всегда и всем живым примером сдержанности, внезапно пустился во все тяжкие. Было ли это разоблачением той жизни, которую он и прежде вел тайне от всех, или же возвращением к старым привычкам, от которых стремление к успеху заставило его отказаться на долгие годы? Безусловно, так сбросить кожу невозможно в одночасье. Как это произошло, я не знаю, но лично мне редко доводилось видеть столь искусного игрока, столь жадного до удовольствий вертопраха, столь великолепного пьяницу. Но разве можно было сказать, что он «низко пал»? Отнюдь. Со своей сдержанной элегантностью, полными достоинства речью и манерами, он оставался истинным европейцем и человеком света до кончиков ногтей. Чтобы председательствовать в Великом национальном собрании или Академии, трудно было бы найти кого-то более подходящего. Ни один человек, впервые видевший Пашадиа, с безупречной осанкой, горделиво шагающего по улице, за которым в шаге послушно следовал экипаж, ни за что бы не поверил, в какие грязные и низменные места направляется этот внушительный господин, чтобы остаться там до рассвета. Для меня наблюдать за его жизнью было поистине захватывающим зрелищем, я подозревал, что в ней разворачивалась мрачная душевная драма, тайна которой оставалась непостижимой.

Я так старался передать черты этого благородного и столь дорогого мне образа лишь потому, что не хотел упустить возможности вновь оживить его в своей памяти. Я знал другого

Пашадия, отличного от всем знаменитого ночного скитальца по злачным местам Бухареста. Его можно было увидеть и в другом месте. В нескольких шагах от моста Могошоайя⁶, на уединенной улочке, в тени старого, лишенного цветов сада, возвышался неприветливый, мрачный старинный дом. Я был одним из немногих избранных, кто переступал порог этого богатого жилища, где в каждом уголке отражалась суровая душа хозяина.

Он встречал меня в своем кабинете, месте покоя и уединения, закрытом от внешнего мира. В этой комнате, обитой сукном, с рисунком, напоминавшим поверхность чаги, со встроенными по периметру, наглухо запертыми шкафами, с окнами, плотно завешенными шторами, мы провели с хозяином столько незабываемых часов за дружеской беседой. Глубокая и захватывающая, сдержанная и мастерски выстроенная, без лишних слов, отступлений и излишеств, она затягивала мощным неводом, поражала, увлекала, очаровывала. В молодости Пашадия был не только мастером пера, но и прекрасным живописцем. Он прочел несчетное количество книг. Историю он знал как никто другой, именно эта наука усовершенствовала в нем врожденный дар безошибочно судить о людях. Многим находившимся тогда на вершине успеха он предсказал близкое, печальное падение. Никогда не забуду, как зловеще мерцали его глаза, когда он произносил эти предсказания. Пашадия Мэгуриану! Его симпатию ко мне я воспринимал как милость Божию и горжусь тем, что был доверенным лицом этого великого бунтаря, столь непоколебимого, несгибаемого и мужественного. Из всех недостатков, которых свет находил в нем, я не мог признать лишь один – непростительную дружбу с Горе Пиргу.

Горе Пиргу, или, как его еще называли, Горикэ, был редкостной дрянью, равного которой не было. Плоские шутки этого дерзкого фигляра создали ему репутацию умного парня, к которой добавилась, неведомо почему, репутация годного парня, хотя годным он был только на всякие скверны. Этот шут имел душу мошенника и негодяя. С детства испорченный до мозга костей, плут, мошенник, заядлый игрок в бабки и орлянку, прихвостень, водивший дружбу со всеми сводниками и шулерами, он был Вениамином⁷ кафе «Казес» и Херувимом борделей. Мне было противно наблюдать за этой сухой и мрачной личностью, которая испытывала болезненное влечение ко всему низменному и грязному. В Пиргу жила страсть к цыганской разгульной жизни, что и у нас когда-то, с любовными историями на окраинах, кутежами в монастырях, непристойными песнями, мерзостями и похабщиной. Карточные игры, служившие ему ремеслом, и венерические болезни, истощившие его организм прежде времени, – вот единственное, о чем он мог говорить, строя на этом весь свой юмор, очаровывая тех, кто находил прелесть в его примитивности. И всё же другого спутника Пашадия себе не нашел, хотя открыто презирал Пиргу, оскорбляя и безжалостно унижая его при каждом удобном случае.

– Полюбуйся-ка, – бросил он мне, – не дай своему соседу наложить на себя руки! Видишь? Он того и гляди нож проглотит.

И действительно, Горикэ в каком-то неистовом остервенении выскребывал ножом заливное из стерляди, густо обваливал его в майонезе и тем же ножом заталкивал кусок глубоко в рот. Я сделал вид, что ничего не вижу и не слышу. Пантази наклонился, делая вид, что ищет что-то под столом.

– Правила элементарного воспитания, – продолжил Пашадия, – гласят: нельзя вонзать нож в овощи или рыбу, вилку – в брынзу, и ни в коем случае нельзя заносить нож в рот. Но сии наставления писаны для людей утонченных, сыновей знати, а не для мужланов и сброда. Учить тебя хорошим манерам – это равно предложить свинье выпить из фляги!

⁶ Мост Могошоайя – один из самых старых и знаменитых проспектов в центре Бухареста, носящий сегодня название «Каля Виктория» (в переводе – «Проспект Победы»).

⁷ Аллюзия на библейского персонажа Вениамина, любимого сына Иакова.

Для Пиргу, мнившего себя непревзойденным знатоком высшего света, не могло быть оскорбления более болезненного. Однако он мгновенно оправился и, ожегши Пашадиа надменным взглядом, пообещал изничтожить его.

– Избавь меня от этой твоей чепухи, – рывкнул он, – иначе следующий ход – за мной. У тебя уже старческий маразм...

Чтобы разрядить обстановку, Пантази приказал откупорить шампанское, которое, по обычаю наших застолий, подавали в больших бокалах. Пиргу позволил налить себе лишь на палец, поверх чего добавил почти литр легкой минеральной воды. Из всех четверых он был единственным, кого не прельщал алкоголь, можно сказать, что он больше даже делал вид, что пьет, заполняя свой желудок шприцем с голубой газировкой. Тем не менее случалось иногда видеть Пиргу пьяным уже с утра, и когда он был подшофе, вытворял такие глупости, после которых совершенно непонятно, как ему только хватало совести и смелости показываться людям на глаза.

Произнеся тост в честь нашего дорогого Пантази, мы с наслаждением отпили освежающего напитка. Пиргу лишь пригубил и поморщился.

– Шампанское без женщин, – проворчал он, – не стоит и гроша.

Однако женщины были решительно и навсегда исключены из наших застолий. Все попытки Горикэ добиться позволения пригласить пару подруг оказались тщетными. Пантази был бы рад согласиться, но Пашадиа оставался непреклонным. Мы ограничивались тем, что бросали короткие плутоватые взгляды на дам, сидящих за соседними столиками, которые обычно в ответ строили лукавые глазки.

Затуманенным и мрачным взглядом Пашадиа раздевал пышнотелую еврейку, сидевшую чуть поодаль прямо перед ним. Я присоединился к этому благочестивому делу, зная, что никак не огорчу этим своего уважаемого друга. В очевидном осознании своей чудесной восточной красоты, находящейся в полном расцвете, с матовой, словно из воска, кожей, бархатными глазами, горевшими холодным пламенем между шелковых ресниц, она оставалась неподвижной, равнодушной, полной безграничной надменности избранного народа, как и ее прабабки, когда их волокли, обнаженных, на невольничьи рынки или, позже, на дыбы Торквемады. Она сидела, закинув ногу на ногу, приподняв до колен свое платье, позволяя увидеть сквозь прозрачность черных чулок белоснежность ее безупречно изогнутых бедер. Когда всё же она решила их прикрыть, сделала она это с неторопливой грацией и без тени смущения. Пиргу тем временем бесстыдным взглядом протирал дыру в пышной расфуфыренной торговке с раскрашенным сурьмой лицом. Он с томной улыбкой, полуприкрытыми глазами поднимал бокал, нежно отпивал, затем жадно облизывал губы. Один лишь Пантази, погруженный в свои мысли, ни на кого не обращал внимания. Его мягкий, мечтательный и печальный взгляд блуждал где-то вдаль, пока не остановился на официанте. Он жестом приказал принести нам еще шампанского.

Тем временем Пиргу в своих шутках уже начинал переходить границы дозволенного. Опустошив бокал, он одной рукой подставил его к глазу, имитируя монокль, другой рукой стал посылать воздушные поцелуи торговке, которая заливалась смехом. Пашадиа посоветовал ему успокоиться, чтобы не нажить неприятностей.

– Тебе не совестно будет, когда тебя вышвырнут отсюда вон? – спросил он.

Пиргу посмотрел на него с презрительным сочувствием.

– Не путай меня с собой, меня не выгнать запросто, как никудышного бродяжку. Я здесь как дома, меня везде знают и любят. – Чтобы доказать свои слова, он встал и подошел к столу, где сидела торговка, поцеловал ей руку и что-то прошептал на ухо, затем вскользь оббежал и другие столы, немного задержавшись у стола красивой еврейки.

– Рашелика меня спросила, – сказал он, вернувшись на свое место, – как такой утонченный человек, как я, сын знатного боярина, может общаться с подобными заурядными людьми? Она была возмущена. Я попросил не принимать это близко к сердцу, сказал только, что этот

бедный капризный старик был когда-то высокопоставленным вельможей, но теперь совсем раскис, а второй – просто еще ребенок.

Пашадиа ничего не ответил. Я последовал его примеру, впрочем, не стал скрывать своего восхищения тому количеству людей, с кем был знаком Пиргу.

Людей всякого рода и всякого сословия, со многими, словом – со всеми вокруг. Кого только он не знал и во что только не влезал: в закрытые жилища испуганных и трепещущих торговцев, через затворенные врата полных богатства еврейских домов, похожих на крепости, в ветхие гнезда запаршивевшей знати! Везде Горикэ принимали с распростертыми объятиями, хоть и не всегда через парадную дверь. Остается только удивляться, почему он ни у кого не вызывал отвращения и страха, почему никто не видел, как где-то глубоко внутри этой мелкой ползающей, ухмыляющейся и лебезящей шавки коварная зависть кормила и натравливала на всех грязного лютого зверя, движимого злобой и ненавистью, будто служившего самой судьбе орудием разрушения и уничтожения. Впрочем, сам этот мерзкий человечек не стеснялся в этом признаваться, гордясь поступками, за которые по закону его должны были бы упечь в тюрьму или психушку.

Еще со школьной скамьи он стал водить своих друзей к порочным женщинам. Для подобных дел он обладал неиссякаемой дьявольской фантазией. Пиргу превратил подстрекательство к распутству, которому он отдавал всего себя, в некое подобие своего служения. Искушенный в маклерстве и сводничестве, он стал виновником краха нескольких избалованных юнцов и падения многих женщин; по его милости известные имена были запятнаны бесчестьем. Почти ни одна скверна не обходилась без его участия, и зачастую движущей силой была его жестокая и ненасытная потребность глумиться, ради которой он не останавливался ни перед чем: вынюхивание, клевета, сплетни, склоки, доносы, угрозы придать гласности доверенные ему или раскрытые им тайны, анонимные записки – всё это казалось ему в равной мере приемлемым, и каждый способ выбирался в зависимости от ситуации. Рождался вопрос: что же еще должен был совершить Горе Пиргу, чтобы его наконец признали плохим парнем?

Он был чрезвычайно польщен тем, что привлек наше внимание, и с удовольствием принялся рассказывать одну из последних историй некой госпожи Мурсэ. Однако его речь была прервана уходом Рашелики. Грациозной походкой она направилась в сторону нашего столика; неподалеку, в гардеробе, была оставлена ее накидка. Пиргу тут же вскочил, намереваясь помочь ей. Рашелика была как никогда ослепительна в своей пугающей гармонии. Неожиданно в моей голове возник образ черного тропического цветка, полного и яда, и меда, источающего дурманящий теплый аромат, который с головокружительной страстью разливался вокруг при каждом ее движении. Однако вблизи, при всей своей красоте, она источала что-то отталкивающее. В ней чувствовалось нечто большее, чем в других женщинах: первозданная Ева, иноземка, непримиримая врагиня, несущая как искушение, так и смерть. Ее спокойный взгляд скользнул по нашей компании и неожиданно вспыхнул, столкнувшись со взглядом Пашадиа.

За ней следовал какой-то сутулый юноша, пылающий нездоровым румянцем, его глубоко посаженные глаза излучали болезненный блеск. Было заметно, как его мучил сухой кашель. В улыбке, с которой он прощался с Пиргу, сквозила боль расставания навсегда.

– Это Мишу, – прошептал Пиргу. – Он уже одной ногой в могиле, покидает нас. Она и этого сгубила. Двоих за три года, не считая тех, кого она искромсала походя. Браво ей, потрясающая дама, честное слово! – И обращаясь к Пашадиа: – Послушай, а ты хотел с ней роман закрутить, думаешь, хватит силенок? Ответь, пожалуйста, чтоб я знал, я замолвлю за тебя словечко, это даже в моих интересах. – Вместо ответа Пашадиа взял бокал и выпил содержимое до последней капли.

– Уж если на то пошло, чего ты раздумываешь? – не унимался Пиргу. – Всё равно ты на ладан уже дышишь. Думаешь, люди не знают, что ты давно уже только на лакрице и маджуне⁸ держишься? Ты уже последние деньки доживаешь, постарайся хоть умереть счастливым...

Внезапно по всему трактиру прокатилось какое-то волнение. Многие вскочили из-за столов и бросились к выходу. На улице звучал набат, проезжали пожарные машины. Официант, который нас обслуживал, сказал, что ничего серьезного не произошло: загорелся чердак возле церкви квартала Старого двора, но его потушили до прибытия пожарных. Среди посетителей, многие из которых владели или арендовали дома поблизости, возникло сильное беспокойство, они волновались, как бы огонь, столь опасный на этих узких улочках с плотно стоящими домами, не перекинулся и на их жилища.

Зашла речь о Старом дворе, который без своей церкви с зеленым куполом растворился бы в небытие, и даже название его было бы забыто. С присущим ему красноречием Пашадиа поделился с нами знаниями о жилищах старых правителей. На первый взгляд, в них не было ничего выдающегося. Как и весь город, Старый двор горел и неоднократно перестраивался и, должно быть, занимал обширную территорию, поскольку остатки сводчатых фундаментов находились по всему кварталу, например под трактиром, где мы сидели. Представить себе, каким некогда был Старый двор, было несложно: по большей части он походил на монастырь со множеством корпусов, чтобы вместить всю челядь и толпу цыган, он был беспорядочным, лишенным стиля, с какими-то пристройками, заплатами, в своей уродливости достойный лишь служить декорацией для всей той мерзкой жизни правящей клики, слепленной из всякой чужеродной швали, обильно сдобренной цыганской кровью.

Я спросил его, не следует ли искать причину отсутствия у нас величественных и прочных строений, таких, как мы видим на Западе, в неустойчивой власти господарей и страхе перед вторжениями? Благородное стремление к строительству не было чуждо некоторым нашим воеводам. Брынковяну, например, воздвиг в своих обширных владениях богатые дворы. Он ответил мне, что нет; любовь к прекрасному – одна из привилегий народов высоких кровей, к которым нас нельзя причислить, – наш народ ничего не дал цивилизации. Затем он обрушился на Брынковяну и, сорвав с него господарскую куку⁹, шлем принца Священной Римской империи, корону венгерского комита и русский орден Святого апостола Андрея Первозванного, в нескольких чертах изобразил его нам как плутоватого булибашу, торговца и прислужника, словом – рабскую душу. Безусловно, он тоже был заражен лихорадкой строительства, садового искусства и украшательства, охватившей сильных мира сего той эпохи. И тем не менее, что же осталось от столь богатого горемыки, который правил в эпоху бурного расцвета барокко? Что он оставил после себя: колонны в монастыре Хорезу, парадное крыльцо во дворце Могошоая, замок Потлоги, что еще?.. – и такими затертыми никчемными отбросами мы еще смеем хвастаться? Нужно уже раз и навсегда покончить с этими историями, потому что это позор!

Эта пламенная речь не была для нас неожиданностью. Оценивая и осуждая всё румынское с непоколебимой суровостью, Пашадиа часто впадал в остервенение. Неусыпная ненависть, тлевшая в нем, разгоралась яростно, во всю силу, охватывая его, словно пламя, и срываясь, как самум. Поскольку нельзя было ни на йоту подвергать сомнению сказанное им, я счел излишним вставать на защиту прошлого, тому сказочному призраку, которому мое перо вальдшнепа посвятило чудесный иконостас, над которыми я в юности трудился с почти набожным усердием. В этом, однако, не было нужды, поскольку сам Пашадиа несколько отступил от своего сурового мнения.

– Впрочем, довольно странно, что их вклад в искусство менее значим, нежели в историческую память. Этим скромным руинам я не могу отказать в очаровании. Даже перед самыми

⁸ Наркотическое средство, название которого произошло от турецкой сладости.

⁹ Головной убор молдавских и валахских князей, украшенный страусовыми перьями.

незначительными развалинами мое воображение обретает крылья, я чувствую глубокое волнение.

– Я тебя понимаю, – сказал ему Пиргу, – потому что и ты сам – развалина, почтенная рухлядь, и отнюдь не из тех, кто хорошо сохранился.

Прозвучало смешно.

Так мы и проводили время. Уже почти месяц, как Культ Кома объединял нас за обедом или ужином. Но истинное удовольствие мы находили в разговорах, в беседах, охватывающих только красивые и приятные вещи: путешествия, искусство, литературу, историю; особенно историю – плывущую в безмятежности академических славословий, откуда ее низвергали в грязь шутки Пиргу. Было печально смотреть, как в своей неподготовленности этот враг печатного слова оставался чужд обсуждаемых тем. И напротив, в Пантази Пашадиа встретил ясный ум, вооруженный и свободный дух. Я боялся упустить какое-нибудь слово из их светлого обмена мнениями и знаниями, и одно то, что у меня остались записи, которые я старательно хранил, утешает меня, даже если я не восстанавливаю всё утраченное во время войны имущество.

К моему большому сожалению, в тот вечер мы были вынуждены разойтись достаточно рано: Пашадиа к полуночи отправлялся в горы.

– С нетерпением буду ждать, – сказал он, – дня своего возвращения, чтобы мы снова встретились, в этот раз у меня. – И, обращаясь к Пиргу: – Устроим и небольшую партию в покер. Поучишься играть, не так ли?

Внезапно Пиргу охватила невыносимая ярость. Облегчение он почувствовал только после того, как взхлеб изрыгнул поток ругательств, переходя от грубой брани возницы к сквернословию торговли и проклятиям уличной девки. Мы узнали, что перед обедом, в игорном доме, Пашадиа жестоко обыграл Пиргу, за одну крупную партию ободрал его как липку. Пиргу проиграл двадцать пять наполеондоров и еще столько же остался должен.

Чтобы успокоить его, Пантази спросил, нужны ли ему деньги. Пиргу гордо ответил, что не нуждается, и мы еще больше удивились, когда увидели, как он достает из конверта стопку сотенных. Он играл всю ночь в частном доме Арнотянов у железной дороги и обогатился. Пашадиа потребовал свой долг.

– А вот нет уж! – сказал Пиргу.

Пантази расплатился, распределив щедрые чаевые между официантами и лэутарами, и мы вышли из трактира. Но крытый экипаж, ожидавший Пашадиа в узком переулке перед трактиром, не смог тронуться с места из-за кучи людей, которые, смеясь и крича, устремились в нашу сторону. В центре этой толпы, вопя как зверь, женщина отбивалась от трех настойчивых городских, которые с трудом удерживали ее. Когда она практически упала нам на руки, мы все четверо сделали шаг назад.

Старая, дряблая, с непокрытой головой, вся в лохмотьях, с одной босой ногой, в своем яростном безумии эта женщина казалась порождением ада. Пьяная вусмерть, она была в полном бессилии. Это вызывало неистовую радость у толпы зевак, бродяжек и бездельников, которые, сопровождая ее, кричали: «Пена! Пена Коркодуша!»

Я вдруг заметил, что Пантази вздрогнул и побледнел. При виде нас женщина неожиданно впала в слепую ярость. То, что нам довелось услышать, заставило бы содрогнуться самое безбожное сердце. Даже Пиргу какое-то время пребывал в недоумении.

– Слушай внимательно и запоминай, – прошептал ему Пашадиа, – у тебя есть шанс восполнить пробелы в своем домашнем образовании.

Городовые увели пьяную женщину. Пантази заговорил с маленькой девочкой, которая, улыбаясь, устремляла неотрывно свой живой и гордый взгляд в сторону этой печальной картины человеческого ничтожества. Он спросил ее, знает ли она, кто такая эта несчастная старуха, которая теперь растянулась посреди моста, как медведь, и не хотела вставать.

– Это Пена Коркодуша, – ответила девочка. – Она снова напилась. Когда трезвая, она нормальная, но если выпьет, становится неприятной.

Пантази незаметно что-то сунул девочке в руку и продолжил расспрашивать ее. Мы узнали от нее, что старуха жила возле Старого двора, продавала свечи в церкви и помогала на рынке. Основным ее занятием было обмывание покойников. Когда-то она даже лежала в сумасшедшем доме.

С большим трудом городовым удалось поднять Пену. Встав на ноги и увидев нас, она вновь ошетичилась, готовясь возобновить свое дружелюбное приветствие, но ее толкнули, и голос утонул в бормотании.

– Вертопрахи! – успела выкрикнуть она нам. – Вертопрахи Старого двора!

Говорил ли ее устами кто-то другой, кто-то из прошлого – кто знает? Но ничто на свете, я думаю, не могло доставить Пантази столько удовольствия, как это забытое словосочетание, давно вышедшее из употребления. Его лицо просветлело, он не мог остановиться и всё повторял его.

– Действительно, – признал Пашадия, – это одно из самых удачных сочетаний слов; оно оставляет позади «придворных бронзового коня», с тем же значением, времен Людовика XIII. В нем есть что-то мистическое, рыцарское. Это было бы прекрасное название для книги.

– Несчастливая Пена, – меланхолично пробормотал Пантази после некоторого молчания, – бедное создание, кто бы мог подумать, что мы снова встретимся? Сколько воспоминаний!

– Так ты ее знаешь? – удивленно спросил Пиргу.

– Да. Это давняя история, история любви, и притом отнюдь не заурядная. Всё случилось во время войны семьдесят седьмого года. Вряд ли уже забыли, какую память оставили о себе здесь русские – они покорили женщин всех сословий, от аристократок до простолюдинок. То было чистое безумие. Золотой дождь из рублей осыпал истомленных страстью Данай – и на циновках убогих лачуг, и под кружевным пологом дворцов. В Бухаресте москали¹⁰ обрели свою Капую. Дамы смотрели только на русских офицеров. Но кумиром, по которому сходили с ума все без исключения, был Лейхтенбергский де Богарне – прекрасный Сергей, племянник самого императора. Напрасно, однако, они ждали, что он «уронит платок»¹¹: само провидение в первую же ночь бросило его в объятия простой женщины, и из этого плена он уже не сумел вырваться. То была девушка, живущая на окраине Бухареста, уже не очень юная, с легкой сединой на висках; я знал ее по маскарадам и летним садам. Очарование этой женщины, обычно неприветливой, скорее странной, чем канонически красивой, таилось в глазах – больших, зеленых, даже мутно-зеленых, цвета рыбьего бока, как говорили когда-то румыны. Ее взгляд из-под густых черных бровей казался всегда немного потеряннным. Быть может, она владела и иными чарами, из которых была сплетена сеть, окутавшая сердце герцога? Кто знает... Но несомненно одно: между полевым цветком и сиятельным принцем, в чьей душе отражалось сияние двух императорских корон, вспыхнула взаимная страстная любовь. Было решено, что после войны Пена последует за своим господином в Россию. Однако герцог Лейхтенбергский, отправившийся на Балканы как крестоносец, нашел там свою смерть. Я сопровождал его прах до самого Прута. Вечером девятнадцатого октября семьдесят седьмого года траурный поезд прошел через Бухарест, остановившись всего на несколько минут, чтобы принять последние почести. В вагоне, переоборудованном в часовню, среди расставленных в нем факелов и свечей, священники в облачениях и кавалергарды в посеребренных кирасах стояли возле утопающего в цветах гроба, в котором покоился герой. И внезапно в толпе раздался душераздирающий крик, и женщина рухнула наземь без чувств. Вы понимаете, кто это был. Когда она

¹⁰ В данном случае слово имеет вышедшее из обихода значение «солдат русской армии».

¹¹ Отсылка на невербальное общение посредством носовых платков в XIX веке. Уронить платок означало призыв подойти.

очнулась, она настолько обезумела, что ее пришлось связать. С тех пор прошло тридцать три года.

Пантази стряхнул пепел с сигареты. Было заметно, что эта печальная история Пены и сегодняшний позор этой женщины доставили ему удовольствие.

Пашадиа попрощался с нами и сел в экипаж.

– Ну давай, трусцой, скатертью дорожка! – крикнул ему Пиргу.

Походка Горикэ уже была нетвердой, язык заплетался, так что ему пришлось немало помучиться, чтобы рассказать нам, что он играл как бог и сам покойный «Покер» не сыграл бы лучше.

– И тем не менее я дал маху, – простонал он, – я облажался, и нет мне утешения. Но он мне заплатит, и дорого, этот старый черт, я его разорю.

Он настаивал, чтобы мы пошли с ним.

– Пойдемте, господа, – уговаривал он, – пойдемте, там нет ничего худого.

Мы спросили его куда.

– К Арнотянам, – ответил он, – настоящим Арнотянам.

Уже давно Пиргу хотел отвезти нас туда. Чтобы отделаться от него, мы пообещали сопровождать его куда угодно, но в другой раз, только не в тот вечер. На проспекте Мост Могошоайей мы расстались: Пиргу направился к почте, а мы – к монастырю Сэриндар. Ночь была влажной и холодной, туман сгустился. В то время, когда я думал только о том, как бы поскорее оказаться дома, в постели, Пантази, по своему обыкновению, попросил меня остаться с ним. Была ли у меня возможность отказать ему в этом удовольствии? Ведь если к Пашадиа я испытывал благоговение, то к Пантази – слабость; одно исходит от разума, другое – от сердца, и кто бы что ни говорил, чувства превосходят разум. Этот странный человек, казалось, был мне дорог еще до нашего знакомства, в нем я нашел своего давнишнего друга, единственного и на всю жизнь, а может, даже больше – самого себя.

Три странствия

*C'est une belle chose, mon ami, que les voyages...*¹²

Diderot

Мой давнишний друг, так мне тогда казалось, хотя до весны 1910 года я и не подозревал о его существовании, появился в Бухаресте примерно в ту пору, когда на деревьях распустились первые листочки. С тех пор я стал встречать его всегда и везде.

С самого начала мне были безумно приятны эти неожиданные встречи, а со временем я даже стал искать повод для них. Есть люди, которые чем-то, даже не знаю чем именно, пробуждают в нас живое любопытство, подстегивая наше воображение и желание создавать о них небольшие романы. Я корил себя за слабость, которую испытывал к таким людям. Не слишком ли дорого я едва не заплатил за эту слабость в моей истории с сэром Обри де Вером? На этот раз, помимо любопытства, возникло новое чувство: душевное сближение, доходящее до умиления.

Быть может, причиной тому была его очаровательная печаль? Вполне возможно, ведь даже его слегка впалые, под сводами густых бровей, редкого голубого цвета глаза могли сказать о многом. У него был невыразимо нежный, окутанный ностальгией взгляд, словно хранивший приятные воспоминания и мечты.

Он не скрывал своего возраста, но глаза его омолаживали, они освещали ясный лоб, делали еще совершеннее его благородное лицо с бледной, матово-смуглой кожей. Клиновидная борода, мягкая, как шелковистые волокна кукурузы, удлиняла его худое лицо. Цвет бороды совпадал с цветом его волос, и примерно такого же оттенка была одежда, которую он обычно носил. Всё было мягким, спокойным, гибким: и одежда, и манера держаться, и речь. Возможно, он был уставшим от жизни человеком, либо робким, либо очень гордым. Всегда в одиночестве, он продвигался по жизни почти крадучись, стремясь затеряться в толпе; однако между ним и остальными людьми было такое несоответствие, что его внешняя простота, слишком подчеркнутая, чтобы остаться незамеченной, достигала прямо противоположной цели, – становилась броской, выделяя его из толпы и делая чужаком.

Хотя он и не был чужаком, но на румына он тоже не походил: слишком красиво говорил по-румынски, впрочем так же как и по-французски, возможно даже с небольшим усилием. Мы часто сидели за одним столом, то в одном из самых известных трактиров города, то на террасе какой-нибудь таверны. Везде, где мы были вместе, я испытывал неизменную радость, но особым местом, где печаль его находила во мне глубокий отклик, вплоть до того, что он казался мне другим моим «я», был парк Чишмиджиу, тот, давнишний, – одинокий, заброшенный, дикий.

Там, под высокими деревьями, в сумерках, этот незнакомец прогуливал свою меланхолию. Он ступал тяжело, опираясь на свою черешневую трость, медленно ступал по аллеям, курил, иногда останавливаясь, погруженный в свои мысли. Какими же были эти мысли, что могли доводить его до слез?

Он заканчивал свои неспешные прогулки затемно и направлялся ужинать. Ближе к полуночи он появлялся в каком-нибудь питейном заведении, где оставался до утра, до закрытия. Затем он еще бродил по улицам, ожидая рассвета.

Я уже говорил, что встречал его повсюду, и так привык к этому, что если вдруг не видел его в какой-то день, то явно ощущал его отсутствие. Однажды я увидел его на вокзале, когда он

¹² «Путешествие, друг мой, – прекрасное занятие...». Дидро (франц.).

садился на поезд до Арада, и ощутил ребяческую досаду при мысли о том, что мой незнакомый друг, человек, который нежно смотрел на небо, деревья, цветы, детей, уезжает навсегда...

Для меня забыть его было бы почти невозможно, поскольку воспоминания о нем тесно связаны с парком Чишмиджиу, которому я оставался верен даже во время сильных дождей, обрушившихся на нас тем злосчастным летом перед появлением кометы. В неистовом оживлении опьяненной влагой зелени, вечером, когда небо на какое-то время становилось ясным, совершенно безлюдный парк раскрывал свои невообразимые красоты именно к вечеру. И однажды в один из самых чудесных вечеров, на большом мосту через озеро, меня ожидал приятный сюрприз – я вновь встретил своего приятеля.

Опершись на хрупкую балюстраду, он устремил взгляд на нежно-белое мерцание восходящей звезды. Увидев меня с зажженной сигаретой, он подошел попросить огня, и этого огня оказалось достаточно, чтобы растопить лед между нами. Оказалось, что и я не был для него чужим, – ведь мы так часто встречались. Он только ждал удобного случая, чтобы познакомиться со мной, и благодарил обстоятельства за то, что в тот вечер всё сложилось как нельзя лучше.

– Когда ты видишь такую красоту, – пояснил он, – одиночество становится невыносимым. Сегодня необычайно красивый вечер. Не правда ли? Вечер из сказки и грез. Говорят, подобные вечера случаются от века, старые мастера любили воплощать тайные священные легенды, и лишь кисти самых искусных художников удавалось передать этот ясный образ во всей его лазурной прозрачности. Это вечер изгнания Агари, вечер бегства в Египет. Кажется, будто само время, словно зачарованное, останавливает свой ход. А в тягучем воздухе – ни дуновения, в листве – ни шороха, на глади воды – ни дрожи...

Сегодня, спустя столько лет, мне кажется, я всё еще слышу его голос. Он говорил медленно и размеренно, придавая даже самым простым словам очарование своего низкого и теплого голоса, которым он умел искусно управлять, делая его гибким, обволакивающим, изменяя его регистр. Я шел, слушая его с нарастающим удовольствием, в тени этого почти мистического вечера, глубокая синева которого отражалась в его глазах, а безграничное спокойствие – во всём его существе. Я наслаждался, слушая его всю ночь. Но для всего того, что он мог рассказать, одной ночи было недостаточно, поэтому, расставшись под утро, мы договорились о встрече на следующий вечер. И всё повторилось заново, а затем снова и снова, без перерыва, почти три месяца подряд...

...тех редких радостных дней, что были в моей жизни. Чем короче становился день, тем раньше мы встречались и тем позже расставались. Если бы дни совсем исчезли, чтобы мы могли всегда быть вместе, я бы не огорчился, с ним бы я не испытывал скуки хоть целую вечность. Впрочем, не было ничего более однообразного, чем наше времяпрепровождение. Мы затягивали наши ужины до полуночи, а затем выходили на свежий воздух и бродили, словно спокойные перипатетики, по пустынным улочкам малознакомых окраин, где часто терялись и недоумевали, осознавая, что находимся всё еще в Бухаресте. Иногда, на каком-нибудь пустыре, он останавливался, чтобы долго смотреть на небо, которое становилось всё красивее и красивее с приближением осени. Он знал все его звезды. А если случалась непогода, мы шли к нему домой.

Он жил на тихой улице Моды, на последнем этаже здания, принадлежавшего королю Каролу, часть которого арендовала пожилая француженка. Она и сдавала Пантази две комнаты. Комнаты были богато обставлены в тяжеловесном вкусе пятидесятилетней давности: гостиная при входе, а в глубине, за стеклянной перегородкой, – спальня. Благодаря страстной любви квартиранта к цветам, к пестрому изобилию эбенового и красного дерева, шелков и бархата и необычайной красоты огромных зеркал, прибавлялось безумное количество роз и тюльпанов.

При зажженных свечах, которые всегда горели в двух серебряных пятирожковых люстрах, всё это придавало жилищу отпечаток изысканной роскоши, создавая обстановку, столь гармонирующую с самим хозяином. И в моих воспоминаниях это жилище неизменно сопутствует его образу.

И вот чары начали действовать: человек говорил...

Повествование струилось, плавно вплетая в свою богатую гирлянду благородные цветы, собранные из литератур всех народов. Владея искусством рисовать словами, он легко находил способ передать, даже уже на давно забытом языке, самые неуловимые и неопределенные изображения характеров, природы, расстояния так, чтобы восприятие было всегда насыщенным. Словно под действием чар, я вместе с ним совершал долгие путешествия в своем воображении. Такие путешествия, которые мне и не снились... Человек говорил, а перед моими глазами, словно наяву, пронесился завораживающий вихрь видений.

На высотах возвышались и покоились в запустении величественные руины крепостей, окутанные плющом и поглощенные ядовитой зеленью. Заброшенные дворцы дремали в давно оставленных хозяевами садах, где каменные божества, прикрытые мхом, с улыбкой взирали на фонтаны, в которых вода уже давно прекратила свою игру, и наблюдали, как осенний ветер развеивает ржавые сугробы листьев. На горизонте в сумерках были видны кровоточащие снежные вершины. Серебристый свет полной луны разливался над старыми спящими городками, игривые огоньки мерцали над чащобой. Поток огней покрывал золотом грязь огромных мегаполисов, зажигая над ними дымку, похожую на зарево. Впрочем, мы старались убежать от их копоты и плесени. Отправляясь навстречу головокружительной высоте вершин, оставляя позади цветущие поляны, проходя сквозь еловый лес, зазываемые шепотом ручьев, разбегающихся под папоротниками, мы поднимались, пьяные от плотного, тяжелого воздуха, всё выше и выше. У наших ног, между голыми склонами и холмами, густо поросшими лесами, вдоль извилистых русел рек расстилались долины, терявшиеся где-то в туманных далях необъятных равнин. Протяжный трепет птиц звучал подобно молитве. В безграничном покое уединения мы созерцали величественное вращение орлов над черными пропастями, а ночью чувствовали себя совсем рядом со звездами. Когда наступал холод и начиналась метель, мы спускались по южному склону, в края со сладкими названиями, где осень прозябает до весны, где всё, даже страдание и смерть, облачается в одежды наслаждения. Горький аромат олеандров стелился над печальными озерами, отражавшими белые башни среди траурных кипарисов. Благочестивые странники шли поклоняться Прекрасному в цитадели покоя и забвения, мы бродили по их узким улочкам и заросшим травой площадям, преклоняясь в старинных дворцах и церквях перед величественными шедеврами, проникались дыханием прошлого, созерцая его возвышенные реликвии. Корабль медленно скользил между прославленными берегами эллинских и латинских морей; столбы разрушенного капища виднелись из лавровой рощи. Гречанки улыбались нам с террас, увитых жасмином. Мы торговались с армянскими и еврейскими купцами на базарах; наслаждаясь танцем живота, пили сладкое вино с моряками в прокуренных тавернах. Нас опьяняла пестрая суeta залитых солнцем пристаней, покачивание мачт, очаровывала безмятежная тишина турецких кладбищ, нежная белизна восточных городов, раскинувшихся, словно одалиски, в тени величавых кедров. Мы позволяли синей магии Средиземноморья увлечь нас. Изнемогающие от зноя его глазурного неба и задыхающиеся от ливийского ветра, мы выходили к океану. Ближе к полуночи в играющих волнах перед нашим изумленным взором рождалось бесконечное наслаждение. Падающие лучи обдавали золотом опустившийся туман, проникая сквозь покровы дымки, переливаясь всеми цветами радуги. Взглянув на запад, мы обнаруживали бесподобные тяжелые пурпурные отблески. Мы наслаждались водянисто-прозрачным воздухом летнего вечера с его фиолетовыми оттенками и сказочным сиянием северной зари над снежными просторами ледников. Затем мы поворачивали к тро-

пикам, проживали вместе с колонистами мечту о солнечной Флориде и Антильских островах, следуя по стопам «охотников за орхидеями», погружались в темную зелень амазонских лесов, которую, словно искры, пронзали полеты разноцветных попугаев. Ничто не ускользало от нашего жадного взгляда, мы открывали потерянные райские уголки на бескрайних просторах хранящего спокойствие океана, где под новыми созвездиями следовали долгому пути, направляясь в страны пряностей, к колыбели древних цивилизаций, отмечали приход весны в синтоистском святилище Исэ, затем погружались в таинственное забвение китайских и индийских ночей, наслаждаясь ароматами вечеров в Бангкоке. Горячий ветер ласково гладил серебристые колокольчики пагод, склонял широкие листья экзотических деревьев. Мы забывали о Европе, всё, чем восхищались когда-то, казалось нам таким скучным, тщедушным и блеклым. И мы шли всё дальше и дальше, в поисках более глубоких горизонтов, более древних лесов, более цветущих садов, более величественных руин; удовлетворение мы находили лишь тогда, когда красота или некие странности заставляли нас поверить, что мы находимся в стране грез, но каким бы ни было чудо, созданное либо игрой природы, либо человеческим трудом, оно не могло надолго удержать нас, и мы снова отправлялись в путь, пересекая угрюмые просторы и обрывистые уединенные места, обходили печаль бесплодных пустынь, ужас зловонных топей, чтобы как можно скорее вернуться к морю.

Море...

Гладкое, как зеркальная поверхность озера, находящее укрытие в изгибах берегов, бирюза небесной тверди и жемчуг облаков, пестрый, усеянный цветами луг или танец светлячков, то тусклый и неторопливый, то яркий и неистовый, устремляющееся пеной к небу, порождением которого оно является. Он говорил о море с языческим благоговением и как только произносил его имя, голос становился тихим и начинал дрожать, словно произнося исповедь или молитву. Ему казалось, что человеческий язык неспособен в полной мере передать восхищение той огромной движущей мощью планеты, колыбелью всего живого, свободного и непорочного. Даже самые талантливые произведения поэтов, осмелившихся воспеть его, не могут передать его величие. Море было его мечтой, оно непрерывно звучало в его сердце, как звуки в раковине, приставленной к уху. Именно в море, которое было страстью всей его жизни, он хотел найти свою могилу...

...а сейчас он молчал, уставившись в пустоту. И уже около часа я чувствовал какую-то тяжесть, давящую на грудь, сжимающую виски. Этот человек, привыкший к резкому морскому ветру, к целебному запаху водорослей, боялся, оказывается, открытых окон и жил в задымленном помещении со спертым воздухом, пропитанным тяжелыми ароматами. Поздно вечером пламя свечей неподвижно застывало, и время от времени слышался приглушенный шорох лепестков, слетающих с жухлых бутонов.

Это была не единственная его странность. Иногда он напоминал мне того молодого англичанина, чью печальную историю я однажды записал. У него был тот же бесценный дар – обрамлять описания путешествий редкими историческими деталями. А еще он так же стремился узнать как можно больше о прошлом каждого уголка земли или воды, соединяя везде сегоднешний вид с былой картиной. Ему нравилось мечтать, стоя у скалы, с которой Сапфо бросилась в волны, у берега, где прежними воинами Кнея Помпея был сложен костер из рыбацкой лодки. Здесь была повержена прекрасная Инес де Кастро, там умер в заточении безумный король. Но пейзажи сэра Обри словно были лишены человеческого дыхания, подобно земле после потопа. Тогда как описания моего нового друга отражали звенящий красочный мир в живописных одеждах: шейхи и паши, эмиры и ханы, раджи и мандарины, священники и монахи всех вероисповеданий и рангов, звездочеты, отшельники, колдуны, знахари, вожди диких племен, у которых он бывал гостем или спутником на празднествах и охоте, и, должно быть, он им нравился и был им по душе, так же как и его многочисленным друзьям из Европы, ведь он

умел держаться спокойно, смиренно, терпеливо, без обычной спеси и предрассудков, с доброжелательной, непринужденной учтивостью, что выдавало в нем «великого боярина» в высоком смысле слова, одного из последних хранителей того, что было самым очаровательным и ценным в «старом режиме». Меня интересовало скорее не то, кем был этот господин Пантази – так, кажется, его звали, – человек, страстно увлеченный Красотой и впитывающий знания из всех источников, читавший в оригинале Сервантеса и Камюэнса, кавалер ордена Святого Георгия Российской империи, в то же время способный поддержать беседу с попрошайками на чистом цыганском языке, а привлекала меня тайна печали этого избалованного судьбой человека, секрет этой едва уловимой грусти, что так романтично окутывала его существо, отражаясь в бесконечности небес, морей и берегов. Постепенно, по мере того как в моей памяти воскрешались эти картины, во мне пробуждалась новая душа, душа кочевника, терзаемая невыносимыми воспоминаниями, искушением отправиться в неизвестность, меня охватывала жажда странствий, очарование дальних скитаний. И я страдал ужасно, чувствовал себя подавленным до отчаяния при мысли о том, что я до конца останусь рабом какого-то клочка земли, обреченным страдать, изнемогать в узком загоне. Подобно тому копьё Ахиллеса, которое обладало даром исцелять раны, наносимые им самим, лишь рассказы этого необычного приятеля могли облегчить мою боль, благодаря им я терялся в мире грез, как в дурмане, в опьянении, подобном тому, что бывает от мака или конопли, одинаково разжигаящем воображение и заканчивающемся не менее горьким пробуждением.

Так я и завел дружбу с незнакомым мне человеком, и стали мы закадычными друзьями. Мы проводили вместе всё свободное время, его дом был открыт для меня всегда, и я стал проводить у него даже больше времени, чем у себя дома. С наступлением осени, когда надвинулись холода, он стал выходить реже, и если на улице была непогода, он не открывал шторы и весь день сидел при зажженном свете. Он с тоской говорил о вилле, которая где-то под теплым небом ждала его у моря, в зелени и цветах. Как же он любил цветы! Последние бухарестские розы, стоящие у него дома, опали, и поскольку у хризантем, занявших их место, не было аромата, он расставил широкие чаши со стручками ванили. Со столиков тебя манили сладости, фрукты, сладкие напитки. Человек жил в безграничном безразличии, ни о ком и ни о чем не заботясь, сидя в подушках, он только курил и рассказывал, а его новые истории всегда сопровождались долгими задумчивыми паузами. В эти паузы глаза его заливались слезами. Других гостей, кроме меня, я у него не встречал.

И вот, примерно за месяц до вечера, с которого начинается эта история, во французской таверне, где для господина Пантази свято хранили свободный столик в самом укромном месте, во время ужина царил суматоха. Что именно привело в тесное помещение шумное собрание всех франтов Бухареста, я не помню, знаю только, что, быстро пресытившись видом этой скучной и пустой публики, я уже было собрался уткнуться носом в тарелку, когда появились те, кто поистине были достойны внимания. На мгновение мне показалось, что, воспользовавшись неразберихой в стаде глупых буйволят, в загон пробрались два изголодавшихся хищника...

Это был один из тех прочных союзов, которые обычно скрепляли пороки, настолько прочных, что со временем их участники уже не могли представить себе отдельное существование. Безусловно, именно порок связывал и этот союз, иначе что еще могло сблизить двух столь разных людей? Один – в возрасте, окутанный пеленой отчаяния, его оцепенелое, но еще стройное тело несло голову, которую уже не увидишь в наше время, – казалось, из былых времен пришло к нам это суровое лицо с гордыми чертами, несущими печати бунтарства и ненависти. Он медленно обвел мрачным холодным взглядом посетителей таверны. Его спутник производил однозначно неприятное впечатление, он был гораздо моложе, обладал внешностью, сочетающей худощавость с отечностью: тонкие кривые ножки удерживали раскачивающийся острый животик, а в ухмыляющейся и недовольной физиономии читалась низость его натуры.

Его живые подслеповатые глазки сверкали коварной злобой. Рядом с надменным господином наглый вид этого пройдохи становился еще более отталкивающим.

– Да ты и воды в ручье найти не сможешь, – проворчал он так, чтобы мы слышали, – и опять – это моя забота, и опять все на бедолагу Пиргу!

Он пожал по-дружески руку Пантази, покровительственным жестом поприветствовал меня и, не спрашивая разрешения, сел за наш стол. Его спутник сел только после приглашения и после положенных формальностей, которые я исполнил с большим удовольствием, поскольку давно желал сближения этих двух людей, Пашадиа и Пантази, предназначенных понимать и ценить друг друга.

Из-за нас таверна не закрывалась до рассвета. Пиргу уходил и возвращался несколько раз, становясь всё более пьяным. В доказательство своей любви к Пантази, которого он постоянно называл «дядя», он всё время целовал его.

– Не давайте мне больше целовать его, братья, – взмолился он, – иначе я его к праотцам отправлю.

– Ничтожный шут, – недовольно сказал Пашадиа, – смотри, чтобы мы сами тебя к пра-родителям не послали!

Правильнее было бы, если бы мы все вместе хоть раз последовали за ним и нас обратно уже не впустили. Обычно в наших ночных похождениях мы с Пантази шли за Пашадиа, который, в свою очередь, слепо следовал за Пиргу, и мне открылся неведомый доселе мир всякого рода мерзостей, и если бы я сам не был им свидетелем, а услышал бы от кого-то другого, я бы решил, что это выдумка. Бухарест остался верен своим старым традициям порока, на каждом шагу нам напоминали, что мы находимся у врат Востока. Однако распутство поражало меня меньше, чем царившее повсюду безумие. Признаюсь, я не ожидал увидеть столько разнообразных и многочисленных причуд, встретить столько открытого сумасшествия. И поскольку мне не довелось тогда повстречать никого, у кого рано или поздно не проявился бы хоть один изъян, от кого я бы неожиданно не услышал откровенный бред, я в конце концов потерял надежду встретить во плоти человеческое существо в полном здравом уме. Тем не менее количество интересных случаев оставалось весьма ограниченным, и среди них я счел достойным изучения только случай Пашадиа.

Я знал, каким образом мой дорогой друг пятнадцать лет назад положил конец долгой борьбе, в пучину которой он был ввергнут своей зловещей судьбой, и как он буквально похоронил себя заживо. С тех пор всё, что он делал, было настолько безрассудным и бессмысленным, что нельзя было не согласиться с общественным мнением, объявившим его сумасшедшим. Этот человек в своей болезненной ненависти к Румынии поклялся навсегда покинуть страну, как только у него появятся хоть малейшие возможности. И тем не менее, разбогатев настолько, что его состояние во много раз превзошло самые смелые ожидания, он не только не пересек границы страны, но даже обосновался именно в Бухаресте, в этом проклятом городе, полном стольких горьких воспоминаний. В старых домах Зинки Мамоноаи, купленных на публичных торгах, он, полностью их отремонтировав и наполнив всевозможными редкими и ценными вещами, устроил себе роскошное уединение, где жил на широкую ногу, по-боярски. Однако жизнь его была весьма странной и хаотичной, непохожей на жизнь других. Одна из странностей заключалась в том, что он пятнадцать лет держал повара и лакея, но ел только по вечерам, и то в трактире, и столько же лет никогда не спал дома, в своей постели. Слуги, следуя его желаниям, появлялись и пропадали, словно привидения, не проронив ни слова. Поскольку он не мог вытерпеть проживание под одной крышей с прислугой, им было отведено отдельное жилище, в котором они еще и селили или давали временный приют своим родственникам или знакомым, о которых хозяин понятия не имел. И стало притчей во языцех, как однажды, увидев из окна, что из его двора выносят гроб, он даже не захотел узнать, кто умер. Если бы я стал

перечислять все его странности, я бы никогда не закончил; поэтому я ограничусь лишь самой поразительной: Пашадия жил двумя жизнями попеременно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.